

М и х а и л Б А Р У

МЕЛКОТЕМБЕ

А все же жаль, что на зиму мы не уходим в теплые края. Было бы у нас там насиженное место. Понятное дело, что не такое хорошее, как у южных народов, которые все время там живут, но что-то вроде зеркального отражения России в другом полушарии — немного теплых, влажных оазисов с пальмами и магнолиями, в которых жило бы начальство, а большей частью Сибирь наоборот — пески, камни и под камнями нефть. А на наши места приходили бы на зиму якуты, эвенки и коряки с ненцами, оленями, лайками, песцами, леммингами, полярными совами и закопченными чайниками. Потели бы в наши двадцатиградусные морозы.

Сейчас, в апреле, мы уже собирались бы домой, в родовые гнезда насиживать новые яйца и выводить потомство. Не все, конечно. После выхода на пенсию разрешалось бы оставаться в теплых краях круглый год. Ну, и тем, кто по здоровью не может кочевать — инвалидам, работникам прокуратуры, военным, полицейским и депутатам. Не всем, конечно. Муниципальные депутаты мотались бы каждый год, как миленькие, в свои Сарапулы и Сарански.

Пришли бы мы со всеми своими медведями, лосями, белками, зайцами, зябликами и божьими коровками, а дома якуты, эвенки и коряки с ненцами. Живут себе и домой в тундру не собираются. Все наши дома вяленой рыбой пропахли и прогорклым тюленьим жиром, на котором эвенки и якуты жарят свои яичницы из яиц гагар и казарок. Еще, говорят, неделю-другую и точно уже откочуем, еще совята полярные на крыло не встали, еще не перешли они с мышей-землероек на леммингов, еще маленькие каюры картавят и путают оленьи и собачьи кричалки, еще песцы не полиняли к зиме, еще березового соку мы на дорогу не набрали, еще у баб лыжи не ороговели, а как бабам без лыж по тундре, по железной дороге... Так-то мы уже бубны все упаковали, и колотушки, и бубенчики, и даже духов предков запечатали в туеса, и вот вам на комод вырезанный из моржового клыка на память чум с чумичками. Да вы успокойтесь. Вы полюбуйтесь, до чего искусно вырезано. Вы глаз-то прищурьте и увидите, что

у каждой чумички... Ведь умрешь же со смеху, да? Детишкам только не показывайте.

А мы уже все на нервах, а нам уже картошку пора сажать, у нас полные чемоданы рассады помидорной, у нас вот-вот взойдет чеснок, который под зиму сажали, у нас бархатцы, у нас грачи и даже соловьи прилетели, у нас яйца, которые давно пора откладывать... Вы же сами потом придете на месяц раньше срока из своей тундры и будете стоять уже с середины августа под окнами, каждый день спрашивая, не нужно ли помочь собирать вещи и зачем нам столько сушеных грибов, картошки и варенья в дорогу. Сами же потом...

* * *

Проснешься — а на дворе уже самый конец бабьего лета, которое давно перестало быть ягодкой и превратилось в тыквы, кабачки и патиссоны преогромных размеров. За окном ходят строем серые, шинельного сукна, тучи, тяжело и прерывисто дышит холодный ветер, и воздух наполнен вставшими на крыло желтыми листьями. По уму-то надо бы тотчас все бросить, поставить мольберт у окна и писать этот холодный осенний воздух, тщательно выписывая каждый листик, каждый вздох ветра, каждый скрип калитки, каждый крик ястреба или не писать, а обнимать с неистовой силою чьи-нибудь колени, или целовать пахнущие ладаном пальцы, или пить терпкое осеннее вино, настоящее на белых лепестках махровых хризантем, или настойку на фиолетовых лепестках астр, или просто водку, или в слезах выбежать в сад, к пруду, ходить по его берегу никем не понятым и кричать улетающим птицам: «Я с вами, я с вами, ни за что здесь не останусь...» — а большеголовые георгины будут печально кивать тебе в знак согласия... или вообще не вставать до обеда, а лежать в постели и плакать невидимыми миру слезами над его, мира, бренностью...

Вместо этого встаешь, идешь завтракать, пьешь чай с остатками вчерашней пшенной каши и думаешь о том, что нужно выкопать свеклу с морковкой и прибить рубероид на крыше деревянного сарая, а то его того и гляди оторвет ветром. Еще и обобрат яблоки хотя бы с одной яблони, а то в этом году они так уродились, что даже на старом полусгнившем электрическом столбе с давно оборванными проводами вырос десяток мелких, но красных яблочек. Дикие и наверняка вяжут ужасно, но сварить повидло из них можно. Не для еды, конечно, а для

того, чтобы подарить банку-другую соседям, у которых еще с прошлого года этого повидла столько, что люк над погребом вспучило.

* * *

К концу навигации, когда бесконечный осенний дождь будет бесконечно ходить вокруг да около, когда вода в реке из легкой и серебристой превратится в свинцовую и серую, хорошо сидеть в прокуренном портовом кабаке какого-нибудь Козьмодемьянска или Хвалынска, пить темное пиво, есть копченого леща и слушать, как матросы, оставшиеся на зиму без работы, травят байки про занесенных в Красную книгу мелких, как креветки, речных коньков, из которых в Казани готовят удивительного вкуса казы, добавляя в постную речную конину рыбий жир и белужью визигу; про онежских озерных сирен, поющих похабные частушки и не засыпающих даже на зиму; про вятских лесных русалок, живущих зимой в брошенных бобровых хатках и выводящих там свое потомство; про богатых русских купцов, которые покупали у рыбаков русалочьих мальков и выращивали их себе для разных... срамота, одним словом; про давно вымерших волжских русалок, которые еще в позапрошлом веке водились таких преогромных размеров, что одной только грудью... не говоря о двух; про сухогруз, который шел из Касимова в Астрахань с полными трюмами рязанских сушеных грибов, а буфетчица, желая убажить капитана супом из сушеных белых, спустилась в темный трюм с фонариком, развязала мешок с грибами, чтобы набрать их на суп, и увидела, как на нее из мешка, прищурившись, смотрит, не мигая, огромный сморщенный боровик... Еле ее потом отпоили корвалолом из капитанских запасов.

* * *

Старый, худой, с изрядно поредевшей шевелюрой, но не потерявший живости Иван Александрович Хлестаков. Любитель выпить. Бегаёт, как Добчинский — петушком, петушком. Живёт со своей экономкой или свояченицей, сестрой покойной жены, женщиной строгой, с прямой кавалерийской осанкой и грубым голосом. Имение Хлестакова, доставшееся от отца, пришло в упадок и давно заложено в Опекунском

совете. В заросшем саду у него стоит немного покосившаяся на сторону беседка, которую Иван Александрович называет «Сень струй». Струй там никаких нет, а есть худая бочка, наполненная двумя лягушатами и зацветшей дождевой водой, которая понемногу сочится в землю. В беседке Хлестаков сидит, когда тепло, и курит свою простую пенковую трубку, набитую дешевым и едким самосадам, который где-то покупает Осип.

Есть у Хлестакова записка от Пушкина, которую он сам же и написал. Это осьмушка бумаги, замасленная и истрепанная так, что совершенно невозможно разобрать, что на ней написано. Впрочем, Иван Александрович каждый раз ее читает по-новому. То Пушкин зовет его к цыганам, то присылает с запиской новую поэму, прося критик, то жалуется на то, что жена совершенно не понимает стихов и всегда зевает, когда он ей их читает.

Если старику поднести, то язык у него развяжется, и он станет рассказывать, как однажды чуть не женился на губернаторской дочке, которая влюбилась в него без памяти. Уже и договорились со священником, который должен был их тайно обвенчать в соседней деревне, но сделалась метель, кучер заблудился, плутал по степи, плутал, заехал не туда, и Иван Александрович по ошибке женился на свояченице или на экономке. Черт их разберет, этих своячениц или экономок. Упоминает он и письмо, которое написал губернаторской дочке, но его не показывает никому, а прячет в маленькой шкатулке красного дерева с штучными выкладками из карельской березы. Наедине сам с собой, в кабинете, достанет его, читает, исправляет и дописывает. Допишет, зачеркнет и снова зачеркнет. Еще и клякс понаставит и размажет. Только и прочесть можно первую строчку «Татьяна, милая, Татьяна! С тобой теперь я ...» — и последнюю «А нынче все мне темно, Таня». Повздыхает, достанет из потайного места штоф, выпьет, занюхает рукавом халата, посидит еще, да и уснет за столом, не раздеваясь. Потом придет его экономка или свояченица, аккуратно вытащит у него из рук письмо, сложит его в шкатулку и уберет в потайной ящик бюро, где Иван Александрович обычно ее прячет. Снимет со старика ковровые тапки с загнутыми носами, разденет и уложит на кровать. Посмотрит на него — щуплого, худого, смешно шлепающего губами во сне, сотрет рукой крошечную, незаметную невооруженным глазом слезинку и выйдет, тихонько притворив за собой дверь.

* * *

Осень — это всегда не успеешь оглянуться, как... листья облетели; дети выросли и улетели на зиму в Таиланд или в Италию; тишина вокруг стала такой осязаемой и так располнела, что ее можно ущипнуть и даже оставить на ней синяк; уединение превратилось в одиночество; лепестки на увядших полевых ромашках теперь не любит — не любит, а я вспомнил вас, или не вас, или вообще не вспомнил о том, что нужно принять таблетки; грусть, имевшая в молодости блестящий жемчужно-голубой оттенок, бархатная на ощупь, легкая и тонкая вроде плаща с пелериной, в который при случае можно было красиво задрапироваться, превратилась в толстую, неопрятную и пыльную зеленую с прожелтью тоску, затканную паутиной и засиженную мухами, в которую нет никакой охоты задрапировываться, а отодрать от себя уже невозможно — так она приросла; проседь в бороде разрослась в седину, и только бес в ребре все никак не угомонится, и... Хотя какой это бес... Самая обычная межреберная невралгия и больше ничего.

* * *

Октябрь уж наступил... Те, кто мог, уже давно выплатили ипотеки, алименты и микрокредиты, взяли за свой счет или отработали положенные по закону две недели, а то и просто послали все к чертовой матери и улетели. Остались только те, из кого не получился граф Монте-Кристо, те, кто переквалифицировался в управдомы, те, кому завтра в утреннюю смену, или в школу на контрольную по алгебре, или в поликлинику за анализами, или в магазин за подсолнечным маслом. И воробьи. В холодильнике лежат открытая банка тресковой печени, три яйца, из которых два сырых, а одно сварено вкрутую, до половины прочитанная книга рассказов Нагибина с давно истекшим сроком хранения, стоят треть бутылки водки, непочатая банка черничного варенья и валяется кусок окаменевшего пармезана с плесенью трех или даже четырех сортов. Унылая пора...

* * *

Ночью, не дожидаясь Покрова, пошел снег. Утром в саду и на лужайке все белое. За окном шуршит, капает, тонко и жалобно ноет. Или это ноет внутри... Надо встать, натаскать из сарая в дом дров, растопить печку, выкопать, не порезав лопатой клубни, георгины, отряхнуть лишнюю землю, потом все сложить в клеенчатые сумки, посыпать опилками и убрать в погреб. Собрать упавшие яблоки в ящики, принести в дом, поставить в коридоре и все время о них спотыкаться, а пока можно минуты две или три смотреть в окно на спящие холмы, мысленно ежиться от холода и думать о том, что в следующем рождении ты никогда и ни за что не родишься в этой холодной угрюмой стране, в которой нужно выкапывать георгины на зиму. Сюда — только туристом. Приехать, выпить водки, поесть черной икры, поиграть на балалайке, купить у Иверской зимнюю шапку с советской кокардой, сходить в Большой, поехать на «Сапсане» в Петербург, смотреть за чашкой эспresso или капучино в окно на спящие под снегом холмы, на быстро убегающие назад маленькие домики с огородами и чахлыми садами, на голые черные ветки старых яблонь, и вдруг ясно представить себе маленькие комнаты в этих домиках, теплые печки, засыпанные опилками ящики с собранными яблоками, о которые все спотыкаются, хранящиеся в погребе в сумках клубни георгинов, и подумать о том, что это все ненужное, ненужное из прошлой жизни, но зачем оно так тонко и жалобно ноет...

* * *

Раньше, каких-нибудь сорок или даже тридцать пять лет назад, весной о чем только не думалось — о кливерах, о фор-бом-брамсеях, о попутном ветре, о пиратах, о синих бездонных очах, которые цветут на дальнем берегу, о перьях страуса, о луке, о стрелах, о царевнах-лягушках... а теперь выйдешь утром на веранду в теплом махровом халате и в войлочных тапках, согласишься на ящик с рассадой петуний и стоишь, думаешь, думаешь о том, какими они вырастут, будут ли крупными, гофрированными по краям фиолетовыми воронками, как нарисовано на пакетике с семенами, и точно ли они сорта «Аладдин Бургунди», а не обычные мелкие белые или розовые петунии сорта «Иван Рязанди», которыми

торгуют бабушки на рынках; о том, что все продавцы цветочных семян — самые настоящие пираты и за сто рублей дадут тебе только восемь микроскопических семян, из которых всходит едва половина, а вместо второй половины в углу ящика выросла какая-то двухсантиметровая зеленая метелочка, похожая то ли на морковку, то ли на сурепку... или это из грунта выросло, потому что его не прокалили перед посадкой в духовке; о том, что рассаде через месяц пора в грунт, а зеленые листики еще величиной с муравьиную ладонь; о том, что лук и стрелы лежат где-то в кладовке, заваленные старым туплом, проеденными молью валенками и дырявой резиновой лодкой, которую все нет времени заклеить, да и лук теперь попробуй натяни, потому что артрит, потому что правое плечо к перемене погоды... а хотя бы и натянуть, но потом еще два дня ходи по горам и лесам, потом выбирайся из топкого болота, потом... когда можно просто протереть пыль с палехской шкатулки, в которой лежит давно высохшая и даже окаменевшая лягушачья шкурка, которую когда-то не разрешила спалить в печке жена, которая уже приготовила завтрак и налила чай, который остывает так стремительно, что если не сесть за стол немедленно...

* * *

Полнолуние. Уснешь и тотчас проснешься оттого, что тебе подрезают крылья тупыми ржавыми ножницами. В окно видно, как на другом берегу полноводного теперь ручья горит подожженный мальчишками из соседней деревни прошлогодний сухостой. Редкие звезды моргают, моргают и никак не могут проморгаться от поднимающихся к небу невидимых в иссиня-черном воздухе клубов дыма. Оплавленная с краев огромная медная луна медленно поднимается над горящим полем. Лежишь и вспоминаешь какое-то волшебное слово, которое знал в детстве, но забыл. Скажешь его, и крылья вырастут, или станешь понимать жену или кошку, или есть на ночь ни крошки не захочется. То есть будешь открывать рот и сколько угодно им говорить, но чтобы есть в него... Память стала ни к черту. Жена, которую допрашиваешь с пристрастием, клянется, что не знает этого слова, и при тебе, буквально со слезами на глазах, ест на ночь, чтобы доказать, что она не обманывает. Или будет тебе счастье от этого слова. Самое обыкновенное. Может, конечно, и не насовсем, а только на день

или всего на полчаса. Или просто перестанет болеть плечо к перемене погоды. И слово-то простое — то ли муртурбур, то ли бурмуртур, то ли турбурмур, но не можешь даже вспомнить, куда положил перед сном очки, а уж... Повернешься на другой бок, чтобы уснуть, потом на третий, потом на четвертый... И так почти до самого утра.

* * *

У нас и жизнь так устроена, что ее нужно не столько пережить, сколько перезимовать. Потому у нас кладовки всегда полны банками с вареньем, засахаренными до состояния цукатов воспоминаниями о счастливом детстве, сушеными грибами, засоленными впрок письмами из потерянного рая, с того берега, и пожелтевшими фотографиями, на которых мы улыбаемся и машем.

* * *

Когда гости, наконец, угомонятся и уйдут в дом, остаться в беседке посидеть молча рядом с полупустой бутылкой красного сухого вина, с бокалом, на дне которого еще шевелится прозрачный мотылек, послушать, как гудят майские жуки, как медленно, по каплям, вытекает из кем-то забытого и не выключенного радиоприемника черный, тягучий, точно ром Bacardi, блюз, смотреть на мигающие красные и желтые огоньки на далеком шоссе и думать о том, что... даже не думать, а чувствовать... нет, скорее, жалеть... да ни о чем, кроме того, что пришлось бросить курить лет десять назад. Можно было бы не делать вид, что ты думаешь, чувствуешь и... а просто сидеть в клубах голубого, пахнущего медом и черносливом дыма, попыхивать трубкой, и всем, и даже тебе самому было бы ясно, что ты не просто так сидишь, а думаешь, чувствуешь и даже жалеешь. Немного жалеешь. Совсем чуть-чуть.

* * *

Отпиливаешь старое, сухое и ненужное у ольхи и вдруг видишь, что на самом кончике черной, покрытой лишайниками ветки вырос

крошечный зеленый листик. Вот бы и мы так могли... Ученые, конечно, придумают, как это делать с помощью каких-нибудь чужих стволовых клеток, плаценты и прочей геной инженерии, но хочется, чтобы из самого себя. Внезапно. Два или три года никаких признаков жизни, варикоз, артроз, холестериновые бляшки, отложение солей... а потом раз! И зеленый листик. А то и два.

* * *

Майскими вечерами особенно хороши грозы с их черными-черными тучами, с их ветвистыми, точно олени рога, молниями, оглушительным треском разрываемого в клочки неба, запахом мокрой травы, свежести, огромными, падающими точно за шиворот дождевыми каплями, спасаясь от которых так здорово забежать на веранду, греть озябшие ладони о чуть теплый электрический самовар, пить остывший чай с упавшими в него лепестками цветов вишни, грызть оставшиеся после обеда куриные крылья, намазывать клубничное варенье на горбушку бородинского и говорить, говорить о каких-нибудь новых французских или американских романах, об умирающей деревне, о вековой отсталости, о соседе, которого пьяный трактор вчера, среди бела дня, увез к ручью и там вывалил в воду, о заговорах на редьку, которыми лечит старуха Веретенникова, о последних скандалах в Фейсбуке, о том, что верлибры не приживутся у нас никогда, о мурашках, бегущих по всему телу от стихов Бродского, о теле, по которому ползет и ползет какая-то крошечная букашка с голубыми крыльями и вот-вот заползет за вырез сарафана в такой крупный, такой спелый и такой сладкий горох... а потом, уже засыпая, думать о том, что до осени еще длинный-длинный ряд дней, долгих вечеров, до краев наполненных умирающей деревней, стихами Бродского, куриными крыльями, вековой отсталостью, клубничным вареньем, фейсбучными скандалами и о том, что не стоило так объедаться на ночь клубничным вареньем. Еще и мазать его на хлеб.

* * *

Гулял на закате по полю за околицей. Там луг, ромашки, жаворонки и коровы с телятами. На лугу заполнить голову до краев птичьим

гомомом и насекомым гулом можно меньше, чем за минуту, если, конечно, не слушать того, что говорит пастух коровам и даже телятам, не обращая внимания на их нежный возраст. Гулял я и думал о том, что будет с нашей деревней лет через сто. Застроят ли этот луг кирпичными, крепкими, как домики Наф-Нафа, усадьбами москвичей, или деревню забросят, разбредутся по городам, и все здесь зарастет бурьяном, молодым березняком и осинником. Останется только одна полуразвалившаяся избушка, в которой будет жить седой, как лунь, древний старик в живописных лохмотьях. Во дворе у него будет стоять переставшая ездить и проржавевшая насквозь сто лет тому назад «Лада Калина», и в огороде будут расти лук, укроп и чеснок, успевший стать из домашнего диким и очень злым. Только я успел подумать об одичавшем чесноке, как внезапно вспомнил, что не далее, как две недели назад, бродил я по этому лугу ровно с теми же мыслями о будущем нашей деревни. Вот только в тех мыслях двухнедельной давности не было одичавшего чеснока, а все остальное, включая старика в лохмотьях, заржавевшую машину, лук и укроп было. Если честно, то не в первый раз со мной такое случается. Только начнешь думать о чем-нибудь, и вдруг как током ударит — уже думал. Еще и точно такими же словами. Выходит, что мыслей, которые даны человеку на всю жизнь, не так уж и много — новые рано или поздно кончаются и приходится думать старые по второму, а то и по третьему разу. С другой стороны, можно, конечно, экономить и не каждый день думать новые мысли, а делать это хотя бы раз в три дня, и, если уж взялся, то додумывать их до самого конца, какими бы ужасными они ни были, а не бросать на полпути. И все же, как ни крути, а свежие мысли мало-помалу кончаются. Уже сейчас их у меня осталось не так много, чтобы думать направо и налево. Некоторые мысли я думаю по несколько дней и даже месяцев. Откладываю и через какое-то время возвращаюсь, чтобы додумать. Есть и те, которые не выходят из головы годами. И все равно — пройдет еще несколько лет, и их останется совсем мало. Может быть, меньше, чем пальцев на руках. Оно бы и ничего — можно старые мысли передумать на новый лад, но беда в том, что старые забылись напрочь. Ушли из головы, и митьками их звали. Внутри, в лабиринте извилин, остаются какие-то обрывки, какие-то смутные видения, какой-то салат оливье, в который вместо рябчиков и раковых шеек положили докторскую колбасу и зеленый горошек. В конце концов останется одна или две каких-нибудь мысли, такие замусоленные и задуманные от постоян-

ного обдумывания станут, что и сам черт не разберет, о чем они были, когда в первый раз их думал. Потом и их не станет, и наступит время, похожее на то, что наступает к концу новогодних каникул, когда салат оливье мертв, а ты еще нет. Мыслей в голове нет никаких, но можно в нее пить коньяк, есть эскимо на палочке и принимать таблетки от давления. Декарт, понятное дело, сказал красиво, но в его время еще не было ни эскимо, ни таблеток от давления.

* * *

... и в густой траве миниатюрная новорожденная ромашка, каждый лепесток которой еще не означает любит или не любит, а только мимолетный, ничего не означающий взгляд, брошенный и не тебе вовсе; или случайно оброненное слово с преогромной буквой «л» в самом его начале, на которую падает не одно, а целых два удара; или почти незаметно поправленную тонкую бретельку, или улыбку, еще тоньше бретельки, не означающую ровным счетом ничего, или все, что угодно, или полное ухо мурашек от одной только просьбы «передайте, пожалуйста, селедку под шубой», и маленькую жемчужную сережку, от которой не отвести глаз, и платье с упавшими на него кусочками селедки и свеклы в майонезе из неловко опрокинутого блюда, и салфетку, которой селедку и свеклу неловко пытаются стряхнуть, но только размазывают розовый майонез по цветам на платье, и еле слышный вздох, и потом еще один...

* * *

*Отчего я так сильно
Этой осенью старость почувал?
Облака и птицы.*

Басе

...перестаешь управлять воспоминаниями и они начинают жить собственной, совершенно самостоятельной жизнью — приходят и уходят, когда захотят: смотришь, к примеру, в окно на ворону, сидящую на ветке липы с подобранным где-то окурком в клюве, и ни с того ни

с сего вспоминаешь, как завалил экзамен по процессам и аппаратам химической технологии на третьем, кажется, курсе из-за того, что читал напечатанное на тонкой бумаге «Собачье сердце», которое тебе дали на одну ночь, или это было не сердце, а рот — маленький, упрямый, ненасытный — и экзамен по теоретической механике... или проснешься среди ночи от рева мотоцикла, промчавшегося по улице, а из какого-то закоулка в голове, в который уже бог знает сколько лет не заглядывал, вылезет на негнущихся скрипучих ножках, успевшая порастить мхом, забытая напрочь радость от самой первой самостоятельной статьи, опубликованной в журнале Американского химического общества, в памяти от которой остались не формулы, не графики, а только отвратительный вкус дешевой рябины на коньяке, которой ты эту радость обмывал и закусывал любительской колбасой; или вдруг на совещании, когда только открыл рот, чтобы сказать умное, но не обидное начальству, совершенно не к месту вспоминаешь, как огорчился, взяв в руки свою первую книжку, оказавшуюся маленькой и невзрачной, точно новорожденный младенец, с натужно пищащими внутри первыми стихами, как понял, что она уже не вырастет, и придется писать новую, а не ждать, пока эта станет лучше; или ешь на завтрак овсяную кашу, а перед глазами стоит и не уходит подделанная тобой аккуратными круглыми детскими буквами подпись родителей в дневнике, а... старость не чувствуешь, нет — только облака стали уплывать за горизонт быстрее, а птицы наоборот — как ни поднимешь голову, а они все кружат, кружат и не улетают.

* * *

Лежишь в траве, под сосной, на старом одеяле, жуешь сухую сосновую иголку, упавшую с неба, смотришь на божью коровку, ползущую по твоей ноге куда-то за тридцать земель, и думаешь — к чему были все эти годы странствий, все эти бесконечные поиски себя внутри и снаружи других людей, улеты за моря и возвращения, роковые страсти, мучения, клятвы, толстые и тонкие рукописи, ночные бдения, стихи на разрыв внутренних органов, экзистенциализм, постструктурализм, теория струн, клавиш и правило буравчика... Зачем все это было, если оказалось, что достаточно опушки соснового леса, старого одеяла, сухой хвойной иголки, божьей коровки и двух-трех облаков, медленно

плывущих по небу. И ведь идти-то до этого леса всего километров пять от дачи по проселочной дороге. Лететь-то зачем нужно было за моря? Зачем нужно было морочить голову себе и людям снаружи?

Полежишь еще полчаса или час, изжуешь еще две или три сосновых иголки, проводишь облака и божью коровку, встанешь, свернешь одеяло и пойдешь домой ужинать, а по дороге будешь думать о том, что сегодня убедить себя опять не удалось, но это ничего — в следующий раз нужно будет сделать еще одну попытку. Хорошо, что сосны, одеяло и облака всегда под рукой. Божья коровка тоже придет, никуда не денется.

* * *

И вечер самый обычный, летний, и ветер утих, и дождь кончился, и трава мокрая, блестящая, и от реки поднимается туман, и пахнет свежестью и мышинным горошком, и небо цвета наваринского дыма с пламенем, и в ветвях ивы невидимая птица не то поет, не то жалуется, и где-то далеко, через три дома, тарахтит мопед и кто-то кричит: «Анька, я тебе сейчас не знаю, что сделаю...» — и завтра воскресенье, и сидишь ты на веранде, укутанный в толстый махровый халат, и в руках у тебя уже дважды опустевшая рюмка, и тепло тебе, и плечо не ноет к перемене погоды, но вместо того, чтобы думать о том, как остановить это мгновение или хотя бы попытаться продлить его, ты думаешь о том, что ни о чем не жалеешь, не зовешь, и вообще они не дождутся. И это при том, что не жалеть уже лет двадцать как поздно, и, тем более, не звать, а они и вовсе давным-давно ушли, даже и не подумав дожидаться.

* * *

Похолодало. На кухне жарят принесенные днем из лесу подосиновики с молодой картошкой и луком. Грибами пахнет даже собака, крутящаяся у всех под ногами. В комнате на столе стоят полчаса назад закрытые банки с вареньем из черной смородины и черники. Когда они остынут их нужно будет убрать в погреб. Скоро позовут ужинать. Ты пойдешь, наешься жареной картошки с подосиновиками, выпьешь

чаю с черничными пенками и вернешься к себе. Станешь смотреть в окно, на оранжевые кисти рябины, на закатное солнце, на малиновые облака, на коров, возвращающихся по проселочной дороге домой, на мальчика, вытирающего тыльной стороной грязной руки такой же грязный сопливый нос, и греть руки о включенный масляный радиатор. Насмотревшись, возьмешь толстый том Тургенева или Чехова, откроешь его, закроешь, отложишь в сторону и станешь думать о том, как бы все это описать — и запах подосиновиков, и пенки от варенья, и закатное солнце, и рябину, и корову, и мальчика... но не так, чтобы получился обычный натюрморт, пахнущий грибами и жареной картошкой, а так — чтобы целый ряд мыслей безнадежных, но грустно-приятных, чтобы вдруг нашло беспричинное чувство радости и обновления, чтобы дрогнула дорога, чтобы вскрикнул сопливый мальчик, чтобы видно было, как что-то пылит и сверлит воздух вдали, чтобы чудным звоном заливался... Посидишь над ноутбуком, посидишь, пошевелишь пальцами над клавиатурой, равнодушно поглядишь на потолок и... достанешь из буфета бутылку рябиновой настойки, выпьешь рюмку и пойдешь спать, на ходу ругая себя за то, что переел грибов до невыносимой тяжести в желудке, а вместо искр по всему телу у тебя страшная изжога.

* * *

Написать бы историю России в челобитных. Томах в десяти. Так, чтобы с детальным анализом, о чем просят, на кого жалуются, кому бьют челом и что в результате получилось. С графиками зависимости всех этих переменных от губернии, времени года, века, социального положения и умственного развития. Потом взять все эти десять томов и отправить... да куда угодно — можно в ООН, в МВФ, в ЕСПЧ и даже в Красный Крест. И отовсюду нам пришлют гуманитарную помощь. Римский папа нам отпустит все прошлые грехи и выдаст индульгенции на будущие. Может быть, даже нас заберут всех отсюда куда-нибудь пожить в теплые края. Возьмут в хорошие семьи. Будут кормить на убой. Показывать гостям. Мы будем становиться на табуретки и тихим, дрожащим голосом читать «Мы, холопи твои, Ондрушка, Ромашка, Михрютка... по грамоте отца твоего государева блаженные памяти государя царя и великого князя Михаила Федоровича всея Руси...

в станах и волостях многие села и деревни разбойники разбивают, и животы твои губят, и крадут и убивают людей до смерти... с голоду пухнем... обнищали... Христа ради...» — или «Дорогой и любимый товарищ Сталин! Наш любимый вождь и учитель... расстрелять, как бешеных собак... японских шпионов... троцкистских гадин... ни одного врага народа не оставим на земле...» Нет, это лишнее. Лучше «Уважаемый Владимир Владимирович! Моя пенсия... сорок пять лет трудового стажа... имею награды... макароны... таблетки... за отопление, за электричество... нищета... кроме вас надеяться не на кого...» Нам будут подкладывать лишние куски в тарелки, приносить почти не ношеную одежду, ставить каждый вечер на прикроватные тумбочки маленькие бутылочки с водкой... Впрочем, все это быстро кончится. Долго нас никто не вытерпит. Даже мы сами.

* * *

Вчера вечером переживал из-за того, что погряз в мелкотемье. В том смысле, что пишу я об огороде, квашеной капусте, вишневой наливке, борще, лыжах, валенках, абрикосовом варенье и синицах. Раньше-то я как думал: сейчас быстренько напишу о каких-нибудь петуньях или бархатцах, выкину эту ерунду из головы и сяду писать настоящее — мрачное, Достоевское, душераздирающее и вечное на разрыв аорты и других внутренних органов. Загляну в бездны психологизма, психоанализа и всего такого, о чем литературные критики потом будут рассуждать, цитируя Дерриду, Леви-Стросса и Леви-Страусса. Может быть, даже и запью потому, что никем не понят так, как мне бы этого хотелось. Буду ходить в облаке табачного дыма, винных паров, худой, как тень, бледный и со взором горящим... Вышло все наоборот. Мало того, что не запил, — так еще и курить бросил, а уж как поправился... И все это меня поначалу мучило ужасно. Все я пытался вставить между строчками о петуньях и квашеной капусте если и не топор, которым Родион Романович отправил на тот свет Алену Ивановну вместе с сестрой Лизаветой, то хотя бы грабли или остро наточенный секатор для обрезания веток, которым я в позапрошлом году обрезал засохшие ветви яблонь. Все я тщился между первой и второй рюмкой домашней рябиновки втиснуть рассуждения о несовершенстве мира, о том, быть или не быть, вместо того, чтобы

вставить туда кусок малосолевой селедки с луком и соленый рыжик. А тут еще и письма читателей... Настоящих-то писателей спрашивают о том, как жить и что там, впереди? Не ждёт ли нас теперь другая эра? Меня же спрашивали, какую водку лучше брать для настоек, какие сорта петуний сажает жена, рассказывали о том, как у них в Красноярске или в Вологде ударили заморозки и погибла помидорная рассада, и делились рецептами сдобных ватрушек... Я стеснялся этих писем, как маленькие мальчики стесняются платка, который им заботливая мать повязывает под зимнюю шапку. Я представлял себе, как на ежегодном отчетном собрании писательской организации нас, членов Союза писателей, вызывают по одному на трибуну и мы перед ревизионной комиссией, которая сидит в первом ряду, зачитываем выдержки из читательских писем. Выходят один за другим инженеры человеческих душ и читают длинные, полные боли и невидимых миру слез письма, в которых благодарные читатели пишут о том, как после прочтения рассказа, повести, романа или даже одного стихотворения взглянули на жизнь совершенно другими глазами, как бросили пить, как вернулись в семью или подобрали бездомного котенка на улице. Я стою в углу, в платке, повязанном под зимнюю шапку, с ужасом жду своей очереди и комкаю в потном кулаке куцые распечатки записок о том, как собирали ведрами опята или по моему рецепту настояли рябину на водке, но она кончилась еще перед Новым годом, как... и тут меня жена будит и говорит, что на закате спать нельзя — голова будет болеть, и вместо того, чтобы спать, я мог бы принести дров и растопить печку, потому что на веранде прохладно, и рассада может замерзнуть. «Иди, — говорит она, — а то не будет у нас никаких петуний. О чем тогда писать-то будешь?»

